

НОЧНАЯ ПЕРЕПРАВА

ТИХАЯ ВОДА

КНИГА ВТОРАЯ

НАДЕЖДА ЧАРОДЕЙСКАЯ

Надежда Чародейская

Тихая вода

«Автор»

2026

Чародейская Н.

Тихая вода / Н. Чародейская — «Автор», 2026

Город наконец признал реку — чтобы построить через неё мост. И всё бы хорошо, но мост только выглядит переправой: он безымянный, а в Сивом Броде всё безымянное забирает. Утонувшие идут по нему и не доходят. Живые пропадают по вечерам — и впервые это замечает весь город, а не одна перевозчица. Ясна Лебедь, реставратор витражей и паромщица по наследству, знает: закрыть мост нельзя. Можно только сделать его переправой — дать имя, счёт и вахту. А на руках у неё, кроме кота Буксира, — сто сорок три фамилии из чужого блокнота, двадцать восьмой номер, который ждёт с апреля, и женщина, двадцать лет живущая под именем сестры: летом 2005 года река перепутала двух одинаковых девочек. «Тихая вода» — вторая книга про паром, кота и долг: та же река, новые мелочи, из которых собирается всё.

© Чародейская Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава первая	7
Глава вторая	10
Глава третья	13
Глава четвёртая	16
Глава пятая	19
Глава шестая	23
Глава седьмая	26
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Надежда Чародейская

Тихая вода

Пролог

«Тихая вода» — у нас так говорят про три вещи, и ни одна из них не вода.

Первая — фонд. «Тихая вода», благотворительная организация, учреждена в девяносто первом году для помощи семьям утонувших. Помощь выглядела так: за две тысячи восемьсот, цену коровы, человеку продавали переправу без очереди. Печатной формой. Никуда не перевозя. Фонд работал в четырёх городах и в нашем — лучше всех.

Вторая — вода перед уходом. За полчаса до того, как реке пора уходить, на ней не бывает ни ряби, ни звука, и в ней ничего не отражается. Стоит ровная, как калька на чужом чертеже. Смотришь на неё и понимаешь: ночь будет длинная.

Третья — графа. У меня в «УЧЁТЕ» есть страница, куда я после сорок второй ночи переписала из блокнота Марты Барсуковой сто сорок три фамилии. Слева фамилии, справа чистое поле. Переправы за этими фамилиями — ни одной.

Сорок третью ночь я отработала по учебнику.

Пассажир был простой: Анфиса Петровна, семьдесят четыре года, с соседней улицы. Возвращалась с автобуса через пойму и не заметила, что поймы уже нет. Бывает: у нас половина города так ходит — по газону, по тропинке, по песку, — а потом по воде.

Просьба у неё была маленькая: «Пусть Офелия не ждёт меня у двери».

Офелия — это кошка. Три недели она ждала у двери, и Анфиса Петровна это видела: от берега до её калитки восемьсот метров по прямой, и ждала кошка честно, с пяти вечера до пяти утра.

Сказать я не могла ничего. Я могла делать.

Я отнесла Анфисину куртку её соседке Любе. Не просто отнесла — оставила на скамейке, а Люба её нашла и надела, потому что у нас в городе находят вещи и надевают, и это не воровство, а обмен веществ. Через неделю Офелия перестала сидеть у двери. Она стала сидеть у калитки: на Любе была куртка, а от калитки до автобуса — двести метров.

Просьба была: не у двери. У калитки — можно.

Ночь 43. Анфиса, 74. Кошка. Исполнено. Калитка.

* * *

Утром на пойме стояли колышки.

Восемнадцать колышков, красная лента между ними, тренога на трёх ногах — такая у нас не встречалась с восьмидесят шестого года — и человек в жёлтой куртке, который смотрел в неё, как в подзорную трубу, только не вдаль, а вниз.

На стенде «Благоустройство сухой поймы: этапы» поверх прежней бумаги висел новый лист: «Изыскания. Проект „Рекреационная зона“. Просьба не мешать».

Обычно у нас пишут «не рекомендуется». А тут было «просьба». Я запомнила это слово и, как потом выяснилось, не зря.

* * *

Ночью в тумане стоял мост.

Не весь — ровно настолько, насколько он был напечатан. У нас в городе бумага — это уже половина предмета: если объект в проекте, он наполовину тут, и с этим живут все. Кроме меня. Мне по этой половине ходить.

По мосту шли. Гуськом, не спеша, как ходят на работу. Заходили с того берега и не доходили до нашего: на середине пролёта растворялись — тихо, без всплеска, как будто их стирали. И вода под мостом стояла ровная, как калька.

Я стояла на носу с фонарём и смотрела. Потом Буксир прыгнул на берег, дошёл до первого пролёта, понюхал воздух там, где доски существовали только в проекте, и вернулся мокрый.

Я записала это в «УЧЁТ» — отдельно, на новой странице, там, где бабушка когда-то писала «Ждать»:

Мост: не считается.

Подчеркнула. Обвела.

Мост построят. В этом городе всегда достраивают то, что начали, — просто иногда через семьдесят лет. И когда он встанет, у реки будет два берега и ни одной причины держать паром.

Глава первая

в которой у города появляется мост, а у меня — план

Повестка пришла в понедельник.

«Собственнику объекта по адресу: улица Пойменная, 1. Приглашаем на общественные обсуждения проекта...» Дальше я не читала. Я смотрела на «Пойменная, 1».

Паромный сарай в моих документах назывался «нежилое строение». В бабушкиных — «сарай». В маминых отчётах — «временный объект, подлежащий демонтажу при благоустройстве». Впервые за сто лет у него появился адрес. Это, если разобраться, была первая по-настоящему тревожная бумага в моей жизни.

Обсуждения шли в актовом зале горсовета. Зал помнил три эпохи: на стульях были вырезаны инициалы, поверх инициалов — лозунг краской, поверх лозунга — бумажка «С Новым годом». Я села в шестой ряд, у окна, и стала ждать, как ждут у стоматолога.

— Три вещи продают наш город, — сказал человек в аккуратном пальто, который представился Тихоном Матвеевичем Гладковым, руководителем проекта. — Бренди, шерстяные одеяла и то, что у нас постоянно происходит с водой. Первое и второе продаются отлично. Третьим мы наконец займёмся правильно.

На первом слайде было: «Рекреационный кластер „Сивый Брод“: точка роста». На втором — наша пойма. Только красивая: с набережной, с фонарями, с ограждениями. И с мостом.

— Река у вас, — сказал Гладков, — с этого года в реестре. Область подтвердила. Мы предлагаем городу не спорить с фактом, а оформить его: набережная, смотровая площадка, семьдесят метров моста, ночная легенда в туристическом продукте.

— В каком продукте? — спросила я из шестого ряда.

— В билете, — сказал Гладков.

Он был не грубый. Он был хуже: он был откровенный.

— У вас будет ночная переправа? — спросила я.

— У нас будет ночная переправа, — согласился он. — Безопасная. С гидом.

— То есть постановка.

— То есть сервис, — поправил Гладков и улыбнулся ровно настолько, насколько было предусмотрено сметой.

В третьем ряду Трофим, агент по недвижимости, сын Кузьмы, уже раздавал визитки. Полгода назад он хотел продать мастерскую под кофейню. Теперь он скупал пойму под «объекты придорожного сервиса» — так у нас называется всё, что успели купить до того, как запретили.

— Кто-нибудь пострадает? — спросила женщина с последнего ряда.

— Наоборот, — сказал Гладков. — У вас наконец появится работа.

— У нас есть работа, — сказала женщина. — У нас есть ночная переправа.

— Вот и отлично, — сказал Гладков. — Просто сейчас она у вас не оформлена.

В зале стало тихо. Наш город умеет молчать так, что слышно, как скрипнул стул. Мама сидела в президиуме третьей слева, с папкой, и смотрела в папку.

После заседания Гладков поймал меня у гардероба.

— Лебедь Ясна?

— Лебедь.

— У нас в проекте ваш участок. У вас два варианта: выкуп либо вы в проекте. Нам нужен носитель легенды. Хранитель, если хотите. Ставка, соцпакет, кабинет.

— Мне нельзя брать плату, — сказала я.

— За работу можно, — сказал Гладков. — Плата за работу — это не плата. Это форма.

Он даже не понял, в чём ошибся. А я запомнила формулировку. Человек, который так говорит, не продаёт. Он оформляет.

* * *

Дома мама поставила чайник и села напротив.

— Я двадцать лет сдавала отчёты о том, что реки нет, — сказала она. — Этапы. Сроки. Акты. Двадцать лет я ставила подпись под тем, что воды в нашем городе не существует.

— И что?

— А то, что я сегодня сидела и слушала, как человек с картинками говорит то же самое, только наоборот, и мне за это ничего не будет. Ни ему, ни мне. Двадцать лет, Ясна.

— Мама.

— Что «мама»? Ты хочешь, чтобы я что-то подписала?

— Я хочу, чтобы ты однажды подписала, — сказала я. — Не признание. Отсрочку.

Она долго молчала.

— Я из отдела, дочь. Я не могу выбирать дважды.

* * *

Вечером пришёл Кирилл с двумя папками копий — где взял, он не говорит, и я не спрашиваю: в этом городе копия честнее оригинала.

— Отменить не получится, — сказал он. — Я посмотрел смету: у них уже подрядчик. В нашем городе подрядчика не меняют. В нашем городе его хоронят.

— Я не хочу отменять, — сказала я.

Кирилл посмотрел на меня так, как смотрят на человека, который собрался отменить дождь.

— Нам не надо отменять мост, — сказала я. — Нам надо его назвать.

— Чего?

— Паром у нас ходит под именем. Лебедь. Четыре поколения. У моста имени нет. Безымянное — забирает. Ты этим восемь лет занимался, у тебя вся тетрадь была из безымянных. Ты лучше меня знаешь, чем это кончается.

Кирилл молчал долго.

— Вы понимаете, что вы предлагаете? — сказал он наконец. — Вы предлагаете дать городу разрешение на мост.

— Я предлагаю дать мосту имя, — сказала я. — Это разные вещи. У нас в стране вообще всё так живёт.

Он открыл папку, потом закрыл.

— Сто сорок три, — сказал он. — Я начал сверять по кладбищу. Двадцать фамилий — людей с такими фамилиями в городе не было никогда. Ни живых, ни мёртвых. Наш фонд вёл общий реестр по четырём городам, «Единую книгу». Я восемь лет отправлял в головной офис наши списки, а наш город платил за чужих.

— Как — за чужих?

— А как у нас всё делается? — сказал Кирилл. — Печатной формой.

* * *

В сорок четвёртую ночь пассажиром был Пётр Дудка, пятьдесят восемь лет, монтажник.

— Мне не нужен памятник, — сказал он. — С памятником у нас всё хорошо, у нас памятников на два города. Поставьте номер на столб. Столб два-четыренадцать, на Заводской, я его ставил в восемьдесят девятом. Он без номера. Значит, и меня не было.

Утром я съездила на Заводскую. Столб стоял, номер был — только стёртый, до металла, как будто его специально тёрли.

Сказать я ничего не могла. Я набрала краску и написала номер заново. Через неделю в книге учёта ЖКХ появилась строка: «Столб № 214 — учтён».

Пётр Дудка был учтён через столб. Он просил именно этого.

Ночь 44. Дудка П., 58. Столб № 214. Исполнено.

А до этого, пока мы шли через воду, очередь на том берегу стояла и смотрела не на меня, а левее — туда, где в тумане стоял мост.

— Он зовёт, — сказал мне молодой, из последних. — Мы слышим, как по нему ходят.

— По нему нельзя, — сказала я. — По нему не доходят.

— А этот? — Он показал рукой на середину пролёта.

Там стоял кто-то и не двигался. С этой стороны его было плохо видно, и, честно говоря, я и не хотела.

К утру его не стало. Ни в очереди, ни вообще. Я записала его отдельной строкой, последней на странице, и это была первая строка в моём «УЧЁТЕ», которую я не могла предъявить никому:

Ушёл на мост: один. Вернуть нельзя.

Что сделал Буксир: прошёл по чертежу весь мост, от берега до берега, и сел ровно на середине. Мы с Кириллом переглянулись и не стали его сгонять.

Глава вторая

в которой ко мне приходит живая и говорит, что она утонула

Утром в мастерскую пришла женщина и сказала:

— Мне нужен не витраж.

Она села на табурет рядом со Святым Мартином — моим долгим заказом от горсовета, который теперь, по новым временам, собирались подсветить для туристов, — и замолчала, как будто ждала, что кто-нибудь начнёт счёт.

— Вы не думайте, — сказала она наконец. — Я не сумасшедшая. Сумасшедшие приходят с утра. Я пришла в обед.

— Хорошо, — сказала я.

— Я вам ничего не рассказываю, — сказала она. — Вы работайте. Я просто говорю. А вы сидите и ничего не слышите.

— Ничего не слышу, — согласилась я. За два месяца я научилась этому лучше, чем за двадцать пять лет чему-либо ещё.

Её звали Таисия Ключ, ей было тридцать шесть, и работала она в библиотеке — то есть в самом честном месте нашего города, где человека помнят ровно с той даты, с которой он записан.

— Летом две тысячи пятого года в нашей реке утонула девочка, — сказала она. — Газета написала: «в техническом водоёме», потому что реки у нас нет. Ей было шестнадцать. В газете стояла фамилия: Ключ Вера. И могила есть: Ключ Вера. И мать каждый год носит на неё цветы.

Она помолчала.

— Только в реке была не Вера. — Она помолчала. — И я двадцать лет боюсь, что в реке была сестра. Потому что если там была сестра, то кто тогда я?

* * *

Я не подняла головы, потому что поднимать голову в такой момент — то же самое, что перебивать.

— Не спрашивайте, кто из нас кто, — сказала она. — Двадцать лет назад я это знала. Теперь у меня её почерк, её комната, её оценки. Я с ними поступила. У неё был характер — со мной не связывались. Двадцать лет я живу на месте сестры и прекрасно знаю, что это не моё. И знаете, что самое стыдное? Мне это удобно.

— Почему вы пришли сейчас?

— Потому что вода стала тёплая, — сказала Тася. — У меня с той ночи на плече пятно. Холодное. Двадцать лет холодное, холоднее некуда. В июне оно стало тёплое. Это значит, что в реке открылось место. Место, которое ждёт.

Она посмотрела на меня.

— Я знаю, что вы делаете по ночам. В городе про это не говорят, но в городе знают. Я пришла не просить. Я пришла сказать: закройте это место. Оно ощущается как очередь, в которой сдвинулись.

Я посмотрела боковым зрением, как положено.

Знак ставят тем, кого река вернула: светлое пятно, как водяной знак на бумаге, — дата и имя поручителя. На плече у Таси Ключ было пятно. В нём стояла дата: 14.07.2005. Имя было стёрто — как будто по нему писали много раз.

Двадцать лет женщина носит на плече дату собственной переправы, а город считает, что она живёт.

* * *

Из сумки она достала фотографию и положила её на стол рядом с витражом.

Две девочки у воды. Одинаковые — до неприличия, до нечестности. Обе стояли спиной к реке.

— Это единственная целая, — сказала Тася. — Мама вырезала сестру из всех остальных. Я потом считала: в доме одиннадцать рамок и ни одной фотографии, где нас две.

Я смотрела на фотографию. У правой девочки на плече было светлое пятнышко.

— Это плёнка, — сказала Тася. — Я возила её в область, в лабораторию. Мне сказали: засветка. Я спросила: почему у одной? Мне сказали: пятно от реактива.

Я кивнула и не сказала, что в лаборатории правильно сказали про пятно и неправильно — про реактив.

Если светлое пятно было у девочки на фотографии двадцать лет назад, то оно не знак возвращения. Оно — обещание вернуть. Или метка, что вернуть придётся. У меня не было ответа. У меня было слишком много ответов, и все плохие.

— Возьмите её, — сказала Тася и встала. — Я вас ни о чём не прошу. Я прошу вас узнать, кто из нас я.

* * *

Вечером я пошла к тёте.

Аксинья жила в бабушкином доме и второй месяц выправляла бумаги. Харитина из архива вытаскивала её из небытия по частям — справка, справка, справка, — как будто тётя собиралась жить не в городе, а в каталоге.

— Четырнадцатое июля две тысячи пятого? — переспросила она и поставила чашку ровно. — Нет у меня такого дня.

— Есть, — сказала я. — В ватмане.

— В ватмане есть. — Она смотрела в стол. — А у меня нет. У меня есть ночи, которые я не успела: там я хоть помню, что гнала. А тут — дырка. Как вырезали.

Я принесла ватман. Он лежал у меня третий месяц: сетка, два столбика — «переправа» и «себе», — и июль в нём стоял густой, как стоит густой июль в городе, где каждый вечер что-нибудь да тонет. На четырнадцатом числе был след. Не пробел — след: карандаш, стёртый ластиком, и ластик был жёсткий, и рука — не своя.

— Тётя, — сказала я. — Вы его стёрли?

— Я его не стирала, — сказала Аксинья. Она посмотрела на свои руки, потом на меня. — Я по этой сетке полгода жила, я в ней все свои ночи помню — и хорошие, и плохие. А эту ночь я не помню вообще. Двадцать лет я думала, что это я не успела. А теперь ты говоришь, что там буквы. Значит, я успела. Значит, у меня её забрали.

Она сказала это спокойно, и от этого спокойствия у меня в мастерской стало холоднее.

— Забирают за плату, Ясна. Плату не берут — берут вместо.

* * *

Восстановить карандаш под ластиком — работа на полтора часа: кисть, мягкий графит, лампа под острым углом и терпение, которого у меня обычно хватает только на стекло.

Первыми в косом свете проступили цифры. Потом фамилия. Потом инициал. Потом — буква в букву — последнее слово.

Ключ В. 16. На свету.

Мы сидели и смотрели на эту строчку.

— «На свету», — сказала Аксинья. — Это значит, я её везла, когда уже рассвело.

— Знаю.

Я знала, что бывает, когда везёшь на свету. Две тысячи пятый год был у нас годом, когда счёт сломался дважды: зимой бабушка перевезла на свету мальчика, и через год, день в день, за это взяли его мать. Я эту арифметику знаю наизусть, как свои пять правил, и шестое, которое к ним никто не написал: у всего, что река считает, цена появляется не сразу.

— Ты не Веру ищи, — сказала Акси́нья. — Ты ищи вторую. Потому что если одна у меня в ватмане, а вторая у тебя в городе, — у них обеих по половине. А половинки, Ясна, река не перевозит.

* * *

Домой я шла и считала — так, как в нашем городе умеют считать только по бумаге.

Одна половина стоит в очереди под именем сестры. Вторая живёт в городе под именем мёртвой. Пока у них по половине, ни одна не доедет, и ещё двадцать лет они будут стоять так: одна в воде, одна на берегу.

И тут я поняла, что у меня на руках два дела, и оба — про одно. Мост безымянный — потому что украл. Половина безымянная — потому что по ней писали. Всё, что у меня есть против этого, — одно слово, и слово это «имя».

Я, как учили, записала план в «УЧЁТ» — на страницу перед левой колонкой, где бабушка писала «Ждать»:

Считать. И называть.

Буксир лёг на фотографию и не дал её убрать со стола. Теперь она живёт у нас. Одна. Я не спорю.

* * *

Что сделал Буксир: спал на фотографии, накрыв лапой правую девочку. Ни я, ни он эту тему не комментируем.

Глава третья

в которой я восстанавливаю то, чего не стирали

Тамара Степановна, семьдесят один год, учительница русского.

Она утонула в четверг, возвращаясь из школы вдоль отводного канала — того самого, который в городских отчётах называется «водоотводная канава № 2», а в газете, если что, «технический водоём». В тот вечер канал поднялся, потому что вечером канал всегда поднимается, просто мы это называем «сырость».

За сорок лет она поставила в диктантах примерно двести тысяч запятых и не поставила одну. Про эту запятую она сама мне и рассказала, первой же фразой, когда встала на паром и взяла меня за рукав — не потому, что было страшно, а потому, что на нашем пароме не за что больше держаться, кроме перевозчицы.

— У меня просьба, — сказала она. — Маленькая.

— У вас у всех маленькие, — сказала я. — Говорите.

— Верните его в архив.

— Кого?

— Диктант, — сказала Тамара Степановна. — Он у меня в тумбочке двадцать один год. Я его даже в руки не беру, чтобы не помялся. А в архиве его нет. У нас всё, чего в архиве нет, не считается. Даже люди. Особенно люди.

Я перевезла её, и просьбу она оставила, как оставляют зонт в прихожей: не отдавая, а просто больше не забирая.

* * *

Утром я поехала в школу номер три.

Со мной была папка, в папке — акт обследования, в акте — «признано ветхим, требует реставрации», а в кармане — телефон, по которому за полчаса до того Харитина из архива сказала мне фразу, из-за которой я, собственно, и поехала:

— Мы собираем не документы, Ясна. Документов у нас полно. Мы собираем тумбочки. Тумбочка — это архив, который никто ни разу не проверял.

К девяностолетию школы город делал выставку «Тетрадь из дома». Харитина объяснила мне схему так: люди приносят старые тетради, школьные и не очень; архив берёт их на хранение; всё, что попадает в архив, начинает считаться. Не оценивается — считается. Я в этом городе живу всю жизнь и всё равно не сразу поняла разницу.

Директор встретила меня в коридоре и повела по школе, как ведут смотрители музея, — то есть никуда не торопясь и заглядывая в каждый угол, потому что в каждом углу что-нибудь да нуждается в защите от людей.

— Витрина будет здесь, — сказала она. — Тут у нас раньше был стенд с отличниками. Отличники выцвели.

— А что теперь?

— Теперь будет тетрадь, — сказала Валентина Семёновна. — Тетради не выцветают. Они вспоминают.

Я отдала акт, осмотрела витрину, посоветовала сменить стекло на музейное с фильтром и пошла к выходу. И вот тут в коридоре у меня под ногами оказалась коробка.

Обычная коробка из-под бумаги для принтера. С надписью от руки: «Принято. Разобрать».

— Что тут? — спросила я.

— Домашнее, — сказала директор. — Люди приносят. Мы не успеваем разбирать.

Я не знаю, как это объяснить человеку, который не работал с бумагой. Коробка с надписью «Принято» — это единственный способ выполнить просьбу мёртвой учительницы, не

произнеся ни одного слова из этой просьбы. Сказать живому нельзя. А подсунуть папку — можно. У нас так делается вся правда: не через слова, а через папки.

Я подошла к коробке, открыла её, будто искала там что-то для акта, и положила сверху тетрадь в клеёнчатой обложке, из тех, что служат по тридцать лет.

Никто ничего не заметил. Буксир в моей сумке пошевелился и посмотрел на меня так, что я поняла: свидетель.

* * *

Разобрать коробку архив не успевал, а я предложила свои руки: реставратор в этом городе всегда чей-нибудь временный сотрудник. Так тетрадь и попала ко мне в мастерскую.

Диктант был от двенадцатого мая две тысячи пятого года. Тема — «Каким я вижу наш город через десять лет».

Писала девочка шестнадцати лет. Почерк — сильный, наклонный, с той торопливой честностью, от которой в диктанте всегда вылезает лишнее слово, потому что рука не успевает за мыслью.

«Наш город будет больше. Их обещали — я не верю. У нас строят только то, что можно переименовать.

Я хочу уехать, но знаю, что вернусь. У нас все возвращаются: у нас даже те, кто не уезжал, уже вернулись.

Через десять лет я первым делом заберу своё пальто. Оно серое, с большими пуговицами, и оно моё, а не общее. Это важно: у нас в семье всё общее, и это единственное, что моё.

А ещё у нас есть река. Взрослые говорят, что её нет, потому что её нет в бумагах. Я не спорю с ними. Я просто умею плавать».

Внизу — размашистое «отлично», и под ним, мелким учительским почерком, приписка: «За честность добавлю отдельно. Останься после уроков».

На полях — той же рукой, наверное, вечером, потому что чернила другие: «Осталась».

Я просидела над этим листом, наверное, полчаса. У меня в мастерской есть лампа с косым светом, для работы с рельефом, и я вожу под ней любой документ, который попадает мне в руки, — привычка. Под лампой было видно, что в слове «пальто» чернила глубоко продавили бумагу, в три слоя. Люди так пишут, когда им это правда важно. И ещё было видно, что «отлично» и «останься после уроков» писали одной рукой, только приписка — позже и нажим сильнее, как будто рука дрожала.

Учительница оставила после уроков девочку, которая через два месяца утонула, и хранила её диктант двадцать один год, и не сдала его в архив, потому что не могла объяснить, зачем хранит.

Объяснять и не надо. У меня в мастерской лежит ватман. У меня в шкафу лежит тетрадь с четырьмястами одиннадцатью ночами. У нас в городе половина архива — это то, что люди не могут объяснить, зачем сохранили.

Ночь 45. Тамара Степановна, 71. Диктант. Исполнено. В архиве.

* * *

Вечером пришла Акси́нья — за ватманом, потому что мы теперь сверяем по нему каждую ночь, как другие люди сверяют календарь. Я дала ей чаю и положила на стол диктант.

Акси́нья читала медленно, губами, как читают люди, которых давно никто не просил читать.

— Она была в пальто, — сказала она наконец. — Сером. С большими пуговицами.

Я не сказала ни слова, чтобы не спугнуть.

— Я его сушила, — сказала Акси́нья. И замолчала так, как молчат, когда услышали собственный голос и не понимают, откуда он взялся.

— Где сушила?

— На пароме, — сказала тётя. — На перилах. Ветер с воды, я перекинула через перила, чтобы утром человек надел сухое. Всё.

Она посмотрела на меня, и в её лице было то самое выражение, с каким люди смотрят на пустой стакан, который только что был полный.

— Я не помню ту ночь, Ясна. Я двадцать лет не могла вспомнить ни одного её часа. А тряпку твою помню.

Мы сидели тихо. Буксир залез на ватман и улёгся ровно на четырнадцатое июля, животом на своё любимое число.

— Что это значит? — спросила Аксинья.

— Это значит, — сказала я, — что вода помнит всё, но отдаёт только по письменному запросу.

Я потом думала: почему именно бумага? Потому что в этом городе всё стоит на бумаге: и люди, и вода, и — особенно — вода. Река забрала у тёти ночь, но не тронула бумагу, потому что не понимает, что это тоже память. И значит, единственный способ вернуть Аксинье её ночь — не допрашивать её, не возить на берег, не ждать, пока откроется. Надо найти эту ночь в бумаге. Любой: в классном журнале, в расписании, в наряде, в утренней справке — где угодно, где в июле две тысячи пятого стоит чья-нибудь рука и время.

Я записала это отдельной строкой, чтобы не забыть:

Искать ночь 14.07.2005 в бумаге. Всё равно в какой. Двадцать лет назад её кто-то подписал.

Глава четвёртая

в которой город теряет первого живого

В среду в семь утра контора подрядчика орала на всю Заводскую.

Я оказалась там случайно — точнее, не случайно: я теперь каждое утро ходила мимо поймы, потому что привычка у меня, как у всякого, кто живёт с рекой, — смотреть утром на воду, которой нет.

У поймы стояла бригада, человек двенадцать, и все смотрели на прораба Терентьева.

— Мельник где? — говорил Терентьев. — Мельник. Где. Обходной. Не подписан. С понедельника не подписан!

Бригада молчала. Молчали хорошо, дружно, как молчат на планерке, когда начальство бегаёт кругами по своей же вине.

— Я не спрашиваю, кто Мельник! — крикнул Терентьев. — Я вижу фамилию: Мельник. Я спрашиваю: где он.

И вот тут это сказалось вслух — то, о чём в нашем городе не говорят. Двенадцать человек стояли и понимали, что фамилия у них есть, а человека с этой фамилией — нет, и не было, и, если подумать, никогда как будто и не было. Один из рабочих полез в телефон искать фотографию в общей группе. Не нашёл: в группе был чат, в чате была переписка, «Мельник» упоминался восемь раз, а фотография — ни одна.

Я стояла у забора и чувствовала, как у меня холод идёт по спине, хотя утро было тёплое. Я знала это состояние наизусть — так выглядит забывание у людей, которых я обгоняю в городе каждую неделю. Но я никогда не видела, чтобы дыру, которую река оставляет в городе, видели все сразу.

А Терентьев стоял и повторял фамилию, потому что у него в папке был наряд. Бумага не забывает.

У бумаги вообще есть одно свойство, которого мы, живые, не ценим: она не умеет забывать. Она умеет только теряться.

* * *

Грошев приехал через полтора часа, на автобусе, без ленты и без понятий.

Он больше не был инспектором: бумаги из столицы пришли в июне, аккуратные, с водяным знаком, — «удовлетворить прошение об отставке». Формулировка мне понравилась: прошение, оказывается, у него было. Человек двадцать лет писал протоколы, а уходить собирался сам.

— Я к вам не по должности, — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь, и это была правда: он сказал это подрядчику, бригаде и забору одновременно. — Мне обходной лист.

Терентьев вручил ему обходной — обычный бланк, графа, фамилия, «работы сданы», «работы приняты», три пустых клетки.

— Кто такой Мельник? — спросил Грошев.

Бригада загудела. Терентьев начал объяснять, что Мельник — это тот, кто не подписал. На этом объяснение заканчивалось, и начиналось то самое, из-за чего на стройке стало тихо: фамилию он читает, человека не помнит. А память на гвозди, на скобы и на то, у кого какая струбцина, у прораба идеальная.

— Понятно, — сказал Грошев. — У вас из бригады работать умел один, а фамилия у него — я узнаю. Спасибо. Свободны.

Он отвёл меня за забор, к пожарному щиту, и посмотрел на меня без всякого выражения, которое в его случае означало самую высокую степень заинтересованности.

— Скажите мне, — сказал он. — Это она?

— Кто?

— Та, которую вы называете рекой. Я двадцать лет не мог получить ни одного доказательства. Ни одного. А тут у меня на въезде в город пропадает рабочий, и на его месте остаётся наряд с фамилией, который орали вслух двенадцать свидетелей. Вы понимаете, что это значит? Впервые человек пропал у меня до потери памяти. Обычно память теряют уже после.

— Не в ту сторону думаете, — сказала я. У меня не было права ничего ему объяснять, и это, если честно, никогда меня так не злило, как в то утро. — Думайте в бумагу.

— То есть?

— Вы двадцать лет собирали протоколы, — сказала я. — А вам нужен был бланк.

— Я вас не понял.

— И хорошо, — сказала я. — Не понимайте. Подписывайте.

* * *

В ту ночь на переправе было человек ноль.

Я перевезла паром через реку пустым. Такого со мной не было ни разу: полтора года, сорок пять ночей, и каждую ночь на том берегу ждали. Теперь тот берег был чист, туман стоял без единого силуэта, и только вода под мостом — под тем, недостроенным, который уже наполовину был тут, — стояла ровная, как калька.

На мостовом пролёте, на середине, стоял кто-то. Стоял лицом к нашему берегу и не двигался. Я крикнула. Не мне: в этом городе кричать бесполезно, у нас крики не проходят сквозь воду.

Он не отозвался. К утру не стало и его.

Я сидела на носу и думала простую вещь: у реки был один переход в сутки — а теперь их два, потому что по низкому настилу вечером ходят люди. Река берёт своё по одному — и не я решаю, по какому.

Смена без человека. Взято по мосту: Мельник А. А., 52. Писать больше нечего, и это хуже всего.

Мама сидела в кабинете до восьми и разговаривала по телефону голосом отдела.

Я пришла к ней с пакетом пирожков и с одной маленькой просьбой, которую нельзя было произнести. В этом городе так можно: приносишь пирожки и просишь то, о чём просить нельзя, но по другому вопросу.

— Мам, у тебя есть предписания по объектам благоустройства?

— У меня всё есть, — сказала мама.

— А по технике безопасности на пешеходных настилах?

— Есть.

— А какое вечером?

Мама посмотрела на меня поверх пирожка и поняла всё, потому что она двадцать лет ставила подписи, но выросла в этом городе, как и я.

— Настил без освещения, — сказала она медленно. — Работы после девятнадцати ноль-ноль — при повышенной влажности и ограниченной видимости — запрещены. Оформляем как сезонное ограничение по безопасности. С подписью, штампом и датой. — Она помолчала. — Такого предписания у нас нет.

— Теперь будет, — сказала я.

Мама взяла ручку, потом посмотрела в окно, где в тумане стояла та самая пойма, про которую она тридцать лет писала «объект отсутствует».

— Я двадцать лет подписывала, что тут ничего нет. — Она выдохнула и написала первую строку. — Пусть будет ещё одно, где что-то есть.

Предписание № 44-б. Пешеходные настилы: работы после 19:00 запрещены. Подписано. Работает. Впервые за год бумага сработала быстрее меня.

* * *

Дом семьи Мельник стоял на Пойменной, у самой воды, которая днём — трава.

Я ходила вокруг него два дня, потому что не знала, что делать: Ни сказать нельзя. Ни помочь нельзя, пока не знаешь как. На третий день увидела пса.

Пёс был старый, чёрно-жёлтый, породы «сойдёт за любую». Он сидел на остановке «Заводская» и смотрел на автобус. В 19:40 автобус пришёл, из него вышли шесть человек, и ни один не был тот, кого пёс ждал. Пёс посмотрел на дверь, которая закрылась, и остался сидеть.

В 19:40 я была там и на следующий день.

И на третий день в 19:40 со мной был Буксир, потому что дома у меня его не оказалось — он нашёл меня сам, пришёл к остановке и сел рядом с псом, как садятся на смену.

Псов у нас в городе, я вам скажу, любят больше, чем людей. И вот эту подробность город не забыл: пёс по кличке Рем и то, что Рем ждёт.

Женщина в окне соседнего дома окликнула меня на второй день:

— Вы чего тут стоите? Он ничей, он к нам уже год бегают.

— Он не ничей, — сказала я.

— А чей?

Я не сказала ничего, потому что не имею права. Я сказала другое:

— Он ждёт.

Соседка посмотрела на пса, потом на меня, потом, я уверена, вспомнила, что все мы живём у воды, и закрыла окно, потому что в этом городе все знают, как это бывает, и никто не хочет знать.

Что сделал Буксир: просидел с Ремом на остановке весь вечер, в 19:40 поднялся и встретил того, кого ждал пёс, — автобус, из которого вышел один идиот на велосипеде. Пса это не обесценило. Двое ждали, один пришёл. Кота мы в расчёт не берём.

Глава пятая

в которой инспектор задаёт вопросы, на которые у меня нет бумаг

Грошев больше не носил пальто, которое было ему велико, — то, инспекторское, висело теперь в шкафу, и он об этом сказал один раз и с явным удовольствием:

— Двадцать лет я был человеком, которого в городе принимают за мебель. Я про это. Про пальто.

Теперь он сидел у меня в мастерской, на табурете, потому что стула у меня один, и раскладывал на столе три папки. Он делал это аккуратно, как хирург, и я вдруг поняла, что вижу человека в его настоящем виде: не инспектора, а счетовода. У нас в городе самая страшная профессия — не милиция. У нас самая страшная профессия — бухгалтер, который не успел вовремя умереть.

— Тридцать восемь лет я носил форму, — сказал Грошев. — Двадцать из них — вот эти. — Он положил ладонь на первую папку. — Двадцать восемь пропавших. Семь возвращённых. Это были все мои дела, все двадцать. Остальное — кражи и драки, они в область уходили. Это я к тому, что я не о реке с вами собираюсь говорить.

— А о чём?

— О счислении, — сказал Грошев. — С числами я работаю лучше, чем с людьми. Вы знаете, что я двадцать лет замечал, но не мог сказать вслух? У меня пропадали люди с бумагами. Каждый. Один — со сберкнижкой. Другой — со страховкой. Третий — с пропиской на двух улицах. Это очень характерно: пропадают люди, которые где-то числятся. Люди, которые нигде не числятся, у нас не пропадают.

— Потому что их не замечают, — сказала я.

— Нет, — сказал Грошев. — Потому что их нечего забывать.

Он открыл первую папку: там были двадцать восемь листов, по листу на пропавшего. Я увидела свой собственный почерк на трёх из них: Саша Медведь, номер двадцать семь. Матвей Крепкий, двадцать восемь. И девочка Ната, которой в списке стояло не «пропала», а «не терялась».

— Мне нужно задать вам три вопроса, — сказал Грошев. — Два вы мне ответите. На третий — не сможете. Это в порядке вещей.

— Давайте.

— Первый. Почему у меня двадцать восемь бумаг и ни одного дела? Нет, это не вопрос: это к слову. Первый настоящий. — Он раскрыл вторую папку, и я почувствовала, как у меня холодеет затылок, потому что я узнала угол записи. Блокнот Марты я к тому времени знала наизусть: сто сорок три строки фамилий, и я переписывала их два месяца, чтобы отвыкнуть бояться. Грошев положил передо мной ксерокопию.

— Это у меня с мая, — сказал он. — Мне его принёс Волков. Как отступные, я так понимаю. Он сказал: «Тут сто сорок три фамилии, и половину я знаю лично». Что это?

— Это список, — сказала я. — Люди, за которых заплатили.

— За что?

— За переправу без очереди, — сказала я. — Печатной формой. Никуда не перевоза.

Грошев кивнул, как кивают в магазине, когда цена наконец сошлась с этикеткой.

— Я это и вижу, — сказал он. — Вопрос не в этом. Вопрос второй: как получилось, что на каждую фамилию из этого списка у меня есть честный документ, а ни за одной фамилией нет человека? Я проверил сорок три: у двадцати в нашем городе вообще никогда не жил никто с такой фамилией.

— Четыре города, — сказала я. — У фонда была одна книга на всех. Головной офис.

— Так, — сказал Грошев. — И вот тут моя первая папка и ваш блокнот встречаются. Я двадцать лет писал свои двадцать восемь бумаг. Вы мне приносите список, в котором в трёх строках стоит один и тот же человек — только у вас он «Медведь А. В.», а у Волкова — «Медведь А. В., оплачено 2 800». Мы что, Ясна, с ним в один день работаем? Один продаёт, другая возвращает?

— Не в один, — сказала я, и голос у меня сел. — Просто бумага не умеет забывать.

— Это я уже слышал от вас, — сказал Грошев. — Третий вопрос. — Он помолчал и вдруг посмотрел на меня как-то по-человечески, без своей аккуратной бесцветности. — Третий вопрос я задам не как счетовод, а как житель. Я знаю, что теперь, после июня, ко мне в город входит туман и что-то из города выходит. Я не знаю, что. Я не могу это объяснить ни мировому судье, ни своей жене, ни себе. Вы знаете.

— Знаю.

— Скажите мне прямо, без бумаг.

— Не могу, — сказала я. — У меня правило. Если я скажу — не сбудется.

— Всё, — сказал Грошев. — Вот теперь я всё понял про ваш этот город, Ясна. У вас тут нельзя произносить правду, зато можно оформить её задним числом.

Он сказал это с совершенно каменным лицом, но я видела, как у него на секунду дёрнулась щека, и поняла: мне только что в первый раз в жизни поверили, ничего не доказав. В этом городе бумага весит больше совести, и поэтому человек, который поверил без бумаги, — это человек, совершивший поступок.

* * *

Мы просидели над списками всю ночь, потому что у нас был заказ: не мистический даже, а самый обычный — завершить Мельника.

Вернуть забытого можно только через бумагу, это я знала ещё с Саши. Человек, восстановленный в записи, снова существует для города. И вот тут появлялась закавыка, из-за которой я две ночи не спала: Мельника не нужно было восстанавливать. Он не забыт до конца. Он числился. Обходной лист лежал на столе у Терентьева. Табель уходил в область. За таблицу Мельник расписывался сам, лично, в предпоследний день своей жизни, — и это была его подпись, вот она, родная, с завитушкой, какую ставят люди, которых в детстве учили писать красиво.

— Оформляем приёмку, — сказал Грошев. — Терентьев подпишет, что работы сдал, работы принял, замечаний нет.

— Он не помнит, кто сдавал.

— Это не требуется, — сказал Грошев. — По инструкции не требуется. В акте приёмки прописано четыре строки: объект, объём, стоимость, стороны. Про сознание там нет ни слова. Это, если хотите, ваш случай, только наоборот: я-то думал, что без сознания человека не считать, а выяснилось, что как раз с человеком сложнее.

Утром мы пошли к Терентьеву с актом.

Терентьев читал долго, потом ещё дольше смотрел на фамилию, потом сказал то, что говорят почти все:

— Я не помню такого в бригаде.

— Значит, вспомните на сдаче, — сказал Грошев ровно. — Либо у вас будет наряд на сто сорок восемь человеко-часов и отсутствующий исполнитель. За отсутствующего исполнителя отвечает прораб.

Терентьев взвыл. Он выл про отчётность, про область, про то, что кто-то опять ставит ему палки в сдачу объекта, и весь этот вой был мне даже приятен, хотя я не люблю спектаклей.

— Или, — сказал Грошев, — вы просто подпишете четыре строки и отпустите человека домой.

— Домой?

— Домой, — сказал Грошев. — У него пес на остановке сидит.

Терентьев подписал. Он подписал быстро и зло, как люди подписывают то, чего не понимают, но что им выгодно, и это была самая честная подпись из всех, что я видела за неделю.

Я приехала на Пойменную к 19:30.

Рем сидел на остановке. Автобус пришёл в 19:40 — и из него вышел человек. Шёл он странно, как ходят люди, которые не помнят, куда шли, но помнят, что шли домой. Пёс пошёл ему навстречу и не лаял. Пёс в таких случаях никогда не лает: он узнаёт раньше всех.

Дома у Мельника горел свет. Я постояла у забора, дала себе минуту на всё, чего нельзя, и ушла. Насколько я знаю, третью тарелку в тот вечер поставили и не убрали. Насколько я знаю, никто не спросил, почему.

Возвращён: Мельник А. А., 52. Приёмка работ, обходной лист. Исполнено.

Что сделал Буксир: улёгся на обходной лист ровно на четыре строки. Грошев перекладывал его дважды. На третий раз подписали.

* * *

— Теперь третий вопрос по-настоящему, — сказал Грошев, когда мы вернулись. Он принёс вторую папку и открыл её на середине. — Пока вы были на Пойменной, я кое-что отправил в областной архив. Запросил по-старому: позвонил бывшему коллеге, попросил поднять материалы за две тысячи пятый год. По техническому водоёму. Раз реки у нас нет, значит, всё, что с водой, у нас было вот по этой папке.

Он повернул ко мне лист.

Реестр поступлений в фонд «Тихая вода» за две тысячи пятый год. Ксерокс, бледный, с серой полосой на сгибе. Я узнала лист мгновенно — я держала его в руках год назад. Я смотрела его на свет. Я искала в нём водяной знак, как последняя дура, — искала след реки на ксероксе.

В строке за двенадцатое июля стояло:

Ключ В. — 2 800 — оплачено.

— Плательщика нет, — сказал Грошев. — «По доверенности». Так у них писали, когда платили наличными за кого-то. Двенадцатое июля две тысячи пятого года. Через два дня в техническом водоёме утонула девочка, шестнадцати лет, Ключ Вера. Я это дело видел. Меня по нему опрашивали — я тогда второй год работал, был никем.

— Что там было? — спросила я. Голос у меня не сел и не дрогнул, и я до сих пор не понимаю, как.

— В деле стояло, что утонула одна, — сказал Грошев. — Другая была на берегу, живая. И мать не дала делать вскрытие.

Он закрыл папку, но ладонь с листа не снял.

— А теперь я вам скажу то, что меня двадцать лет тут держит. Я тогда написал рапорт. — Он смотрел на меня в упор. — О том, что на берегу нет следов. Ни её, ни второй. Ни шагов, ни крови, ни травы примятой. Как будто девочку поставили на берег из воды. Ровно поставили, Ясна. — Он снял ладонь с листа. — Рапорт мой не приняли: молодой был, воды не было, писать больше не о чем. И я его... — Он аккуратно сложил ксерокс. — Я его у себя оставил. Двадцать лет лежал.

Я смотрела на знакомую строку и думала, что двадцать лет лежала не только его бумага. В этом городе у всех было по одной незакрытой папке, и нашлась только самая простая — та, где фамилия, дата и сумма.

— Двенадцатого июля заплатили, — сказала я. — Четырнадцатого утонула.

— Угу, — сказал Грошев. — И была четвёртая ночь, когда её везли. Я три ночи в бумагах вижу, а четвёртой нет ни у кого.

— Есть, — сказала я. — Её стёрли с ватмана.

— Восемь, — сказал Грошев, когда я закрыла тетрадь. — У меня впервые число сошлось. Не сходилось-то двадцать лет, а тут — сошлось за четыре строки акта. Я, пожалуй, слезу с

вашего табурета и пойду к жене: она двадцать лет спрашивает, есть ли у меня дело, а у меня теперь есть. Восемь фамилий.

Потом я записала в «УЧЁТ» одну и ту же строчку — в третий раз за год. Первый раз писала не то, второй раз не туда, а теперь наконец туда: против двадцать седьмого листа, где у меня стоят имена, я подписала дату оплаты и фамилию.

Ключ В. Оплачено 12.07.2005. Печатной формой. Считать недействительным.

Глава шестая

в которой я пытаюсь отменить мост и терплю поражение

Заявление я писала четыре вечера.

Слово «река» в нём не встречалось ни разу — не потому, что я суеверная, а потому, что заявление, в котором упоминается отсутствующий объект, у нас не регистрируют: его возвращают «по причине непредметности». Я узнала об этом от Харитины, а Харитина знает всё, что когда-либо было подшито в этом городе, включая то, что подшивать было нельзя.

Получилось так:

«В связи с реализацией проекта рекреационной зоны прошу учесть сложившийся режим использования территории в границах сухой поймы, а именно: регулярное (с 1945 года) использование причальных сооружений и подходов к воде для нужд населения».

Я перечитала и поняла, что написала автобиографию.

Отдавала я её лично, в канцелярию, под подпись, и это была моя большая ошибка: человек, который отдаёт такое заявление под подпись, получает ответ в установленный срок. А человек, который отдаёт его «в ящик», не получает вообще ничего. В этом городе у всего есть срок, и срок — это способ сделать вид, что вопрос решён.

Ответ пришёл через двадцать дней. Двадцать дней — это, если я правильно поняла работу отдела, ровно время на то, чтобы придумать формулировку.

«На Ваше обращение от... сообщаем: проектные решения согласованы в установленном порядке. Замечания учтены в части озеленения. Приложение: копия протокола общественных обсуждений, 4 л.»

Я знала, что там, в протоколе, — я сама видела, как это делается. Там стояла строка: «Выступление Лебедь Я. А. — принято к сведению».

Принято к сведению. Не отклонено — учтено. В этом городе ничего не отклоняют, потому что отклонение можно обжаловать. У нас всё принимают к сведению.

* * *

Гладков приехал сам, в четверг, на белой машине, которая пахла новой машиной.

Он был в том же аккуратном пальто и вёл себя, как ведут себя люди, которые никогда в жизни никого не обидели нарочно.

— Я прочитал, — сказал он. — Спасибо. Такие обращения полезны: они создают... — Он поискал слово и нашёл именно то, которое ему было нужно. — Фактуру.

— Вы сейчас назвали мою работу фактурой.

— Я называл её тем, чем она является в проекте, — сказал Гладков. — Вы поймите: я не собираюсь делать вам плохо. У вас сто лет переправа, у меня полтора года на объект. Я приехал не спорить.

— А зачем?

— Пригласить, — сказал он. — В проекте будет смотровая площадка «Ночная переправа». Часы работы: с шести вечера до одиннадцати ночи, шесть дней в неделю, билет триста рублей, детям скидка, фотозона у воды. Нам нужен носитель легенды. Ставка, кабинет, соцпакет, договор на три года.

— Я просила учесть сложившийся режим.

— Я учёл, — сказал Гладков совершенно искренне. — Вы только что видели, какие у вас часы. Вам их дали. Вы просили существование — я вам его оформляю.

И вот тут во мне что-то щёлкнуло, потому что до этого момента я думала, что воюю не с тем человеком. Я не воевала ни с кем. Я смотрела на него и понимала, что всё это — не зло и даже не глупость, а порядок: в нашем городе правду не отрицают. В нашем городе правду оформляют, и оформленную её наконец можно спокойно подшить в дело и не бояться.

— Господин Гладков, — сказала я. — А что будет с моей бабушкой?

— С чьей?

— С моей бабушкой. Женщиной, которая держала эти семьдесят метров воды с сорок пятого года.

— Я вам отвечу как есть, — сказал Гладков. — В отчёте я обязан указать: сведений нет. У меня в проекте бабушки нет. Есть смотровая площадка. Это не потому, что я хороший или плохой. Это потому, что у неё нет формы.

Он уехал. Буксир сидел на заборе и смотрел ему вслед с тем выражением, с каким у нас смотрят на людей, которые никогда не работали руками.

* * *

Снос стоял в графике: четвёртое–пятое октября, работы — с утра, заезд тяжёлой техники.

Узнала я это от Трофима, сына Кузьмы, агента по недвижимости, который к тому времени уже перепродал свою экспозицию в местной газете дважды: сначала как «земли под сервис», потом как «туристическое ядро». Трофим пришёл ко мне в мастерскую с папкой. Предложение было даже человеческое: он готов купить не «объект», а «память», оформить её как музейный уголок при кофейне и поставить там, я цитирую, «чего-нибудь ваше и бабушкино. Ну, парашют, например».

Я выставила его с папкой и с парашютом.

А ночью в тумане на месте поймы стояла первая опора.

Одна. Ровно на том берегу, где в проекте стояла опора номер один. Я знаю, где она у них в проекте: лист из экспертизы попал ко мне раньше, чем в область, Кирилл раздобыл копию, и я смотрела её, как мы все смотрим бумаги, — с лампой.

Опора была настоящая. Не нарисованная: бетонная, с намокшей венцовой плитой, с бликом от фонаря. По ней ходили тени — по одной, не спеша, — и не доходили до конца.

Я стояла с фонарём и смотрела, как в моей реке встаёт то, чего в ней стоять не должно, и понимала, что дело не в мистике. Это смета. Река берёт из бумаг наше мнение о ней.

В той же папке, что принёс Кирилл, к проекту был подшит тонкий томик — «Изыскания. Архивная справка». Я листала его ночью, с лампой, и на четвёртой странице нашла лист, который уже держала в руках: «Акт обследования технического водоёма от 15.07.2005», осмотр производил инспектор Грошев Т. П. Его подпись, его рука, двадцать лет давности. Мост через нашу реку начинался с бумаги о том, что тут ничего нет. Я положила лист под лампу, посмотрела на него в косом свете — и утром отнесла Грошеву.

Ночь 46. Пассажир: Михеев А. П., 63, главный бухгалтер. Просьба: трудовая книжка. Исполнено.

Про Михеева коротко: он тридцать лет начислял премии, начислял их дважды в месяц, с датами, и умел молчать на совещаниях так, что начальство его любило. Он утонул утром, в сырую пятницу, на подходе к конторе — вода поднялась ровно на три ступени, и ничего, кроме этих трёх ступеней, не случилось.

— У меня просьба юридическая, — сказал он на пароме, и по тому, как он это сказал, я поняла, что человек сперва думал о ней две недели в очереди, а после решил ограничиться формулировкой. — Меня уволили.

— Ну, бывает, — сказала я.

— Вы не поняли, — сказал Михеев. — Меня уволили после смерти. Приказом. По собственному желанию. — Он помолчал. — Триста сорок два человека на заводе, шестьдесят двое ушли при мне, двое — с понижением, один — с судом, и все — с правильными приказами. А меня — посмертно и по собственному.

— И что надо?

— Надо: «уволен в связи со смертью». Там четыре слова. Мне этого хватит.

Утром я пошла в отдел кадров с папкой.

Отдел кадров у нас — это женщина, Людмила, сорока восьми лет, с характером начальника транспортного цеха и с фоточками кота на мониторе (Буксир при входе каждый раз проверял, что там за кот и почему он в кадре). Сказать я ничего не могла. Я подсунула папку: акт по витражу, согласование, просьба подписать, — а поверх, как бы случайно, положила справку из медпункта с датой смерти, той самой, и выписку приказа.

Людмила посмотрела. Людмила помнила Михеева, потому что отдел кадров — это тоже архив, просто с фоточками котов. Она прочитала приказ и сказала:

— А это что за «по собственному»?

— Не знаю, — сказала я честно.

— Теперь знаю, — сказала Людмила. — Это Света делала. Она ушла в декрет, а дела у неё были...

Она ни секунды не думала, что действует по просьбе мёртвого. Она думала, что исправляет ошибку бывшей коллеги, — а это было как раз то, чего Михеев и хотел: чтобы всё оформили правильно, при свидетелях, без мистики и без него.

Приказ мы с ней перепечатали в тот же день. Четыре слова. Из всех моих актов этот был самый простой и самый человеческий.

Уволен в связи со смертью. Наконец. Всего и делов было — четыре слова и папка вовремя.

Тут я должна объяснить про счёт, иначе дальше будет путаница. Ночь я считаю по человеку — так я решила в сорок вторую. Пустая ночь по этому счёту не ночь: пустая — это смена, и идёт у меня отдельной строкой, без номера. Смен с тех пор вышло куда больше, чем людей, и про большинство перевезённых я вам не расскажу: у них в «УЧЁТЕ» стоят номера, они не просят славы, они просят мелочь и не хотят, чтобы о ней знали. Здесь я оставляю только тех, кого нельзя забыть.

Что сделал Буксир: просидел полтора часа в отделе кадров и за это время заставил трёх женщин пересмотреть их отношение к служебному долгу. Долг вырос, коты выросли. По-моему, они в нём что-то взломали.

Глава седьмая

в которой снос откладывается по причине, которой нет

Идею дала не я и не Харитина. Идею в конце концов дал Трофим — сам того не зная, чем заслужил пусть маленькую, но настоящую благодарность, которой я его, честно говоря, ещё не выплатила.

Трофим, объясняя, почему бабушкин дом «не нужен покупателю», сказал мне фразу, из-за которой всё и завертелось:

— Да кто его возьмёт, ваш сарай. Он же старше города в этих границах.

Он говорил про продажу. А я услышала про спасение, потому что у нас в городе каждая вторая фраза так и работает: смысл — сломать, а если перевернуть — так и есть.

* * *

Харитина работала в хранилище с той сосредоточенностью, с какой работают смотрители, у которых в фонде триста лет чужой жизни и ни одного нормального шкафа.

Мы искали сарай.

Точнее, мы искали место — то самое, на котором сарай стоит, — и у места оказалось длинное и в общем-то позорное прошлое.

Что мы нашли.

Первое: перечень строений, отошедших городу по инвентаризации сорок шестого года. Строка двадцать четвёртая, почерк канцелярский, чернила цвета чая: «Перевоз № 1, дом лодочника Лебеда, пристань, сарай хозяйственный». Пристань. В сорок шестом она была не «объектом», а пристанью, и никаких опечаток в листе не было.

Второе: акт пятьдесят третьего года. Того самого года, когда приехали люди из столицы, привезли документ, постановили, что реки нет, и уехали.

Акт назывался скучно: «О перечне объектов, подлежащих сносу в связи с ликвидацией водного объекта». Под номером восемь в нём стоял наш сарай. И тут же — отметка, сделанная простым карандашом, рукой нечиновной:

«Снос перенесён. В связи с необходимостью обеспечения переправы через водоём в технических целях».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.